Предисловие

Что это значит время-*после*? Это время *посткатастрофическое*, т.е. время, которое останавливает все другие времена; и появляется то, что зовут иногда безвременьем. Время-*после* мы связываем с двумя событиями, которые разбили европейскую историю XX века на фрагменты: это Освенцим и ГУЛАГ. Время-*после* – следствие именно этих грандиозных европейских катастроф. Конечно, время эпохи можно чувствовать кожей, «дышать им», но можно и не заметить вовсе, если его подвергнуть тотальной цензуре и «зачистке», радикальному вытеснению с помощью серии пропагандистско-идеологических схем, образов и декораций реального содержания событий ближайшего прошлого. Так, вспыхнувшая в хрущевскую оттепель память о ГУЛАГе была быстро погашена партийными идеологическими аппаратами и «политической полицией» (КГБ). Память о ГУЛАГе, так и не родившись, была вытеснена ПОБЕДОЙ («советского народа в Великой отечественной войне»). Лозунг всеохватывающий и простой – «Лишь бы не было войны» – сглаживал все неувязки памяти, да и оправдывал советскую реальность – итог сталинских карательных опытов над собственным народом. Политические режимы, сменявшие друг друга на протяжении послесталинских лет, так и остались *нелегитимными* (по своей природе чисто «путчистскими»). Во многом именно потому, что преступления против собственного народа не расследовались, нация так и не стала нацией, способной правильно осмыслить собственную историю и принять решение. Так и не были сделаны выводы из того ужасного опыта, который был только что пережит, не введены жесткие запреты на политическую деятельность, ведущую к авторитарному правлению и, возможно, к повторному тоталитаризму. Институты власти так и не были поставлены под контроль общества. Да и само гражданское общество, делающее снова и снова «первые шаги» в защите своих прав, оказалось бессильным.

Призыв Т. Манна и К. Ясперса, многих других великих немцев к расследованию нацистских преступлений был услышан послевоенным немецким обществом. Хотя путь его к осмыслению ответственности нации оказался непростым. Прошли десятилетия, прежде чем признание национальной

вины утвердилось, а нацистские преступления были безоговорочно осуждены. Сегодня в Германии отрицание «нацистского прошлого» преследуется по закону.

И еще раз о ретроспективном парадоксе. Чем больше мы свободны и чем больше чувствуем себя гражданами своей страны, тем больше у нас смелости судить о том времени, которого для нас *не было*; не только вспоминать, но и восстанавливать истину (имена миллионов погибших). Часто эти события кажутся настолько бессмысленными по своей чрезмерной жестокости и государственному садизму, что всякому нормальному человеку невозможно смириться с тем, что они *действительно* были. Например, чем дальше мы от катастрофы ГУЛАГа, тем ближе к ней по доступу к новым материалам, фактам, статистике террора и количества его жертв, тем понятнее наша реакция, которая не ищет путей к стиранию прошлого. Да и что это был бы за народ, который хотел бы забыться в чем угодно, лишь бы не помнить о тех чудовищных преступлениях, в которых принимал активное участие совсем недавно, – преступлениях против самого себя? Время-*после* – время шаламовское, теперь оно, и в немалой степени благодаря литературе Варлама Шаламова, получает свою историческую меру, ценность, место среди других исторических времен. Мы видим его *зияние* в историческом опыте нации, которое не может быть устранено, стерто, «заделано» или, еще хуже, объяснено как необходимо «полезная» сталинистом-вертухаем. Если использовать термин Ясперса, то это время-*после* для страны и государственности является *осевым*, – его разрушительная террористическая мощь ослабла, но оно по-прежнему определяет все другие времена. Это объясняет живучесть многих сталинских мифов (по существу, чисто имперских), за которые цепляется действующий политический режим. Осевое время или время-*после* должно быть открытой раной и решающим критерием истинности в наблюдении за Историей.[i]

i Конечно, время-*после* не следует путать с «постврeменем», постмодернистским осознанием неудачи проекта Просвещения (Ю.Хабермас).

ПАМЯТЬ И ЗАБВЕНИЕ

Т.В. Адорно и время после Освенцима

(материалы и наброски)

Часть первая

Запрет образа

Что значит *«п о с л е Освенцима»*?

Не смотри, не кричи, не помни!

Архив «Освенцима» (редкие фотографии и кадры документальной съемки) и многие другие свидетельства Непредставимого – все это неотвратимо движется на тебя, и ты видишь то, что нельзя видеть («человек не должен видеть это никогда»), – следы нацистской машины уничтожения. Крик, никем не услышанный, чуть ли не хрип... нескончаемые сцены преступления: скользящая вдаль перспектива железной дороги, изгибы стен, подхваченные ровными рядами колючей проволоки, по которой пропущен ток, за ней люди-скелеты: одни кажутся мертвыми, другие чуть живыми; в темных глазах детей отпечатаны боль и испуг, фигуры палачей из СС; на фоне башен охранников сваленные в кучу мертвые тела, дым над крематорием; комната, заполненная женскими волосами, – помнить о канатах для подводных лодок из женских волос, о сумочках и портмоне из человеческой кожи... этих «вещах» Освенцима[i].

i А что мы знаем о гибели миллионов советских военнопленных и других, жертв не только еврейской национальности? Поэтому «Освенцим» нужно видеть и в широкой исторической перспективе чудовищных преступлений против человечности, совершенных на протяжении всего XX века ГУЛАГ вполне сопоставим по тяжести преступлений с Освенцимом. Какие позиции нужно занимать, когда мы говорим о подобных гуманитарных катастрофах: ближе или дальше, выше или ниже тех пунктов понимания, где мы как наблюдатели и исследователи остаемся с ними на одной линии? Сталинисты говорят, что жертвы были не напрасны, причем, сколько бы их ни было. Число жертв массовых чисток и лагерных узников не имеет значения для психологии выживших, которых, как и моего отца, сталинский террор обошел стороной. Сторонники государственного палачества не любят обсуждать «детали» сталинских преступлений, ведь именно детали, – как исполнялись технически приговоры тройки – делает преступление Преступлением. Палач-победитель не в силах поставить себя на место жертвы, хоть на мгновение. Как только это становится возможным, тут же появляется вполне естественный человеческий ужас перед тем, что произошло, а затем решительный отказ от какой-либо вины и ответственности. Всё это психологически понятно. Однако палач никогда не примеряет на себе ужас жертвы. Нельзя

И все это мы видим, что же перед нами, – *абсолютное Зло*?

Почему эти свидетельства еще *есть*, почему их никто не уничтожил, может быть, лучше забыть то, что не должно было произойти? Эти фотографии отталкивающе невозможны, они даже и не разоблачают, они говорят нам о том невообразимом по чудовищности преступлении, для которого нет человеческого суда. Что разрушает естественность и чистоту нашего восприятия? Да, повторение! Фотографии самого ужасного и отвратительного не в силах удержать мое восприятие; все, что я могу сказать о них, – это то, что они здесь передо мной, что они только сообщают мне информацию о том, что произошло в прошлом. Между моей позицией в мире и тем, что я вижу, – дистанция безопасности, которую я не смогу упразднить. Р. Барт заметил, что фотография «не способна выйти за пределы чисто деиктического языка»[i]. Благодаря фотографии я могу касаться ужасающих вещей. Отношения между моим взглядом и предметом, на который я смотрю, устойчивые и повторимые. Глаз видит, потому что поддерживается точечной силой руки, касающейся мира; как всякий механический инструмент, та же палка, он безразличен к содержанию фотообразов. Именно поэтому касание ужасного и невыносимого сегодня намного безболезненнее, чем вчера. Нет ни запаха, ни криков жертв, ни движения людей, ни бараков и эсэсовцев-охранников – все стерилизовано. Мы видим всё, ничего не ощущая. Известная анестезия чувств, исходящая от самых отвратительных фотографий мест преступления. Привычка взгляда, похожая на стирание. В поиске различия между Освенцимом как метафизическим и историческим *фактом* (документом, свидетельством: признанием палача и памятью жертвы) мы можем потерять *истину*. Наша неспособность постичь абсолютное Зло и поэтому попытаться исправить старые ошибки, стать другими...

же предполагать, что сталинский режим произвел на свет особую породу людей, наподобие *homo stalinicus*. Думаю, что сталинисты всех мастей – явные (или неявные) сторонники продолжения гражданской войны любыми средствами. Возобновляемая фигура внешнего и внутреннего Врага как изначальное условие любого авторитарного режима, – вот с помощью чего стирается память у народной массы и подпитывается ложный «убивающий» патриотизм.

i *Barthes R.* La chamber claire. Note sur la photographique. Paris, Cahiers du Cinema. Gallimard, Seuil, 1980. P. 32.

так метафизика не в силах помочь мыслить подобный вариант всепоглощающей гностической злобы. Непреодолимость абсолютного Зла отказывает метафизике в возможности его мыслить. Теперь метафизическое размышление не может служить ни фоном для факта, ни претендовать на истину: это как бы два наблюдения за одним и тем же объектом с разных временных дистанций. Нейтральный наблюдатель не может попасть *внутрь* лагерного *Dasein*, быть тем, кто выжил, кто сохранил возможность свидетельствовать. Поэтому будет знать только то, что представлено в виде набора случайных фактов. Так что и переход от внешнего наблюдения к внутреннему наталкивается на сбой дистанций: неполнота достоверной документальной базы, нехватка свидетелей, искажения и фальсификации свидетельств [i].

Полагать, что поведение нацистов не сможет объяснить никакой здравый рассудок – это абсолютизировать мировое Зло; так палачи и насильники могут оказаться чуть ли не пришельцами с другой планеты. Это отмечается всеми критиками (начиная с Адорно и Хоркхаймера вплоть до А. Бадью, Ж. Рансьера и Ф. Лаку-Лабарта). В чем опасность таких установок? И с чем столкнулась Х. Арендт, когда писала свою книгу «Эйхман в Иерусалиме»? Преступления нацистов столь чудовищны, что невольно демонизируются, – отсюда их «непостижимость», «непредставимость», «невозможность». Но может быть, зло не столь сакрально, как кажется, ведь даже преступления, которые вызывают сегодня особое негодование и протест, остаются обыденно привычными для преступного политического режима. Лагерные палачи с небывалым энтузиазмом и рвением конструируют все новые средства для успешного уничтожения «расово чуждых» народов. На мой взгляд, зло может стать абсолютным, когда оно отделяется от добра, т.е. существует как бы само по себе, без оглядки на добро. Но здесь есть и другая опасность. Как только мы признаем, что человеческое зло банально, что оно всегда рядом и человек готов совершить преступление, причем, самое тяжкое, мы тем самым свыкаемся с фатальным исходом человеческой

i Можно заметить, что Адорно пытается противопоставить свою интерпретацию хайдеггеровского *Dasein*, доказывая, что экзистенциалы «Бытия и времени» перестали быть эффективными при описании новейшей ситуации и нового трагического опыта европейской истории.

истории. Но и напротив, отказываясь от версии абсолютного Зла, мы невольно способствуем забвению. В то время как поддержка версий, усиливающих историческую память, дает нам возможность заложить основания новой этики. Ведь Освенцим и ГУЛАГ – это те пределы человеческого, которые нельзя вытеснить из памяти, не перестав быть человеком, цивилизованным существом, живущим по общим правилам морали и под Законом.

В последней части «Негативной диалектики» (главка под названием *После Освенцима, Nach Auschwitz*) Адорно запрашивает современность: как можно писать стихи после Освенцима, ... если еще жить? Основной его тезис гласит: Освенцим является фактом тотальной культурной катастрофы Запада. Что это за время – *после*? Это не *пост*, не *мета*, это *время*, которое идет и сейчас, время, начавшееся сразу же *после* события, имя которому Освенцим. Адорно называет это несколько расплывчато «неудачей культуры», *Misslungen der Kultur*. *После* выступает как морально-нравственный критерий того, что можно обсуждать, а что нельзя или бессмысленно. Ведь *после* – это время, которое приходит *потом*, – но для кого? Не для тех, конечно, кто оказался жертвой, не для тех, кому не по силам осмыслить то, что произошло. Жертва теряет связь с предшествующим историческим бытием: для нее больше нет родины, нации, семьи, любви и прощения, нет многих других экзистенциально необходимых позиций жизни. Время *после* – не только время осознания вины, страданий и неутихающей боли, но и время забвения. Многое должно быть вытеснено и забыто: не вспоминать, а выживать – вот что главное. Глубокая разрывная травма лишает жертву защиты от прошлого, делает неспособной к полноценному существованию, теряется особо ценная человеческая способность – уметь забывать. Так, срабатывает механизм темпоральной перестановки: *после* уходит назад в прошлое, а *до* захватывает будущее, меняясь с прошлым местами, – механизм забвения.

Не следует представлять «негативную диалектику» Адорно чисто абстрактной теорией, выброшенной на левомарксистский интеллектуальный рынок Европы 60-х годов, требующей соответствующего к ней отношения. Это, вероятно, и не теория, а, скорее, философствование, опирающе-

еся изначально на глубоко пережитый экзистенциальный опыт времени *«после Освенцима»*. Вот образцы размышлений Адорно, заключающих тему:

> «После Освенцима чувство противится такому утверждению позитивности *Dasein*, наличного бытия, видит в нем только пустую болтовню, несправедливость к жертвам; чувство не приемлет рассуждений о том, что в судьбе этих жертв еще можно отыскать какие-нибудь крохи так называемого смысла...»[i].

> «После Освенцима культура вместе с ее уничтожающей критикой – лишь мусор»[ii].

> «После Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование»[iii].

> «...поэтому неверно, неправильно, что после Освенцима поэзия уже невозможна. Правильно, наверное, будет задаться менее "культурным" вопросом о том, а можно ли после Освенцима жить дальше»[iv].

i *Adorno T.W.* Negative Dialektik. Fr. am/M.: Suhrkamp, 1970. S. 322.
ii *Адорно Т.В.* Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003. С. 326–327. (пер. с нем. Е.Л. Петренко).
iii Там же. С. 328.
iv Там же. С. 323.

Но вот что интересно: в последние десятилетия группа историков «негаторов-ревизионистов» строит свою аргументацию исходя из того, что никакого *Холокоста* вообще-то и не было, а был лишь хитроумный и циничный заговор «мирового еврейства». И берутся доказать это, буквально, в два приема. Первое, что они делают, – это ставят под сомнения свидетельства жертв (а заодно и палачей) и требуют подойти к исследованию нацистских лагерей смерти с точки зрения доказанных «фактов», материальных следов, которые можно «проверить». Первое правило «негатора»: отрицать очевидное («Заткни уши, не верь глазам своим!» – кредо подобного опыта). Все книги, которые так или иначе пытались поставить под сомнение «планомерное уничтожение нацистами евреев в лагерях смерти», мотивированы не истиной, а отказом от версии радикального, абсолютного Зла (я уже не говорю, об «авторском антисемитизме»). Ален Бадью в ряде своих статей указывает на то, что философская критика «негаторов-ревизионистов» оказывается неэффективной, когда опирается на аргументы *немыслимого*, *разрыва* и *абсолютного Зла*[i]. С одной стороны, предположение о том, что «истребление евреев» является немыслимым и необъяснимым фактом истории, делает нацизм столь же необъяснимым. С другой – если говорить о неудаче проекта европейского Просвещения и «разрыве», то не играем ли мы в пользу нацизма, его мифологии тысячелетнего рейха как реального обрыва и завершения Истории в идеальном расово чистом государстве; наконец, с третьей стороны, – отделяясь от Добра и не смешиваясь с ним, Зло становится объектом бесконечных подражаний, иллюстраций, повторений и, став абсолютным, оказывается изначальным условием отрицания этического вообще. Если все эти аргументы слабы, то как предотвратить искажение истории и естественную «национальную» тягу к забвению прошлого ? Бадью признает за нацизмом постоянство лишь в определенной политике – *преступной*: «Но сегодня речь идет о незыблемой отправной точке для заявления, в котором нет места для общей с негационистами почвы, нет места ни для дискуссий, ни для опровержений. Это было? Имели место газовые камеры, имело место уничтожение европейских евреев. Мы не можем позволить этому миру дойти

i *Бадью А.* Обстоятельства, 3. Направленности слова «еврей». М.: Академия исследований культуры, 2008. С. 75–80).

до состояния, в котором в любой момент, и чем дальше, тем в большей степени, будет возможно оспаривать эти факты. Ведь мир, в котором обсуждают, оспаривают или подвергают сомнению то, что газовые камеры и истребление действительно имели место, – это мир, где в отрицании собственных деяний процветает преступная политика»[i]. Можно спросить, а что это нам дает? Может быть, нужен новый Нюрнбергский процесс, на котором наконец-то будут поставлены все точки над «и»? Возможен ли такой суд в эпоху после Освенцима и ГУЛАГа, и что он может дать, если все уже произошло и ничто нельзя вернуть назад? Возможно, новый Нюрнбергский процесс должен будет осудить раз и навсегда не немцев, а «тотальную войну» и определить вину в терминах юридической ответственности всех лиц, которые пытались эту преступную политику оправдать, потворствовать ей или, еще хуже, сознательно следовать.

Зверство нацистских преступлений заслоняется рутинностью приказов и привычным гулом машин массового убийства; получающий преступный приказ, хотя и осознает его криминальность, старается выполнить его как можно лучше. Ведь он принадлежит к организации, где беспрекословное подчинение приказу является одним из главных условий ее существования. Выбор организации и есть согласие на подчинение любым ее приказам. Вот на что справедливо указывает Арендт: «Чудовищная тщательность, с которой исполнялось «окончательное решение» – некоторые наблюдатели подчеркивают, что такая тщательность типична для немцев, другие видят в ней характерную черту идеальной бюрократии, – в значительной степени порождена достаточно распространенным в Германии странным представлением о том, что законопослушание означает не просто подчинение законам, а такое поведение, при котором человек становится создателем законов, которым он подчиняется. Отсюда убеждение, что недостаточно просто следовать обязанностям и долгу»[ii]. Имеется в виду тот факт, что это законопослушание становится способом существования народных масс; часто отдельные нации видят в

i Там же. С.79. См.: Отрицание отрицания, или Битва под Аушвицем. *Дебаты о демографии и геополитике Холокоста*. Сост. А. Кох, П. Полян. М.: Три квадрата, 2008; *Бауман З.* Актуальность Холокоста. М., 2010.

ii *Арендт Х.* Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М., 2008. С. 206.

приказе не только орудие формального исполнения долга, но и повод для «творчества», они пытаются «улучшить» его эффективность. Безупречное выполнение приказа Эйхман относил к высшей нравственной силе палача – долгу.

Но что такое приказ? Освобождает ли его «обязательное» исполнение от правовой и моральной ответственности?

В своей злободневной и сегодня книге «Масса и власть» Канетти попытался хоть как-то прояснить отношение приказа к ответственности исполнителя. Так, он полагал, что приказ – калька древнего «приговора к смерти», поэтому его исполнение является своеобразным *откладыванием* приговора. Приказ состоит из «движителя» и «жала», раз исполненный приказ оставляет свое жало в исполнителе. Получивший приказ *навечно* сохраняет его след. Приказ – не пожелание, не просьба, не указание или требование. Исследуя общекультурные основания приказа, Канетти не принимает во внимание, что тот эффективен лишь в особых случаях, часто в чрезвычайной ситуации, причем только в особых организациях – в сектах или армии (построенных на началах жесткой субординации и иерархии чинов). Напротив, в семье мать и отец не приказывают своим детям, как, впрочем, и учитель в школе. Приказ отдается высшим лицом и касается прав и обязанностей членов той или иной организации. Обычно приказы отдают подчиненным и нижестоящим (солдатам, чиновникам, рабам, заключенным), а также больным и другим зависимым лицам. Иначе говоря, приказ заранее предполагает социальный статус того, кто его получает и в силах его исполнить; только в этом случае приказ остается приказом. Исполнение приказа – всегда добровольный отказ от некоторых прав. Приказ пребывает во времени исполнения, за его границей он теряет эффективность.